

Лев Аркадьевич Экономов родился в 1925 году. Рос и учился в Ярославле. В 1942 году ушел добровольцем в Советскую Армию, участвовал в Великой Отечественной войне. Был сначала авиационным механиком в штурмовом полку, потом воздушным стрелком. Награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». В центральных издательствах вышло пятнадцать его книг: романы и повести о летчиках, очерки о воинах противовоздушной обороны, исторические хроники, научно-популярные книги. В предлагаемом читателю повествовании рассказывается о встречах автора с замечательным русским писателем. Издание выходит в авторской редакции.



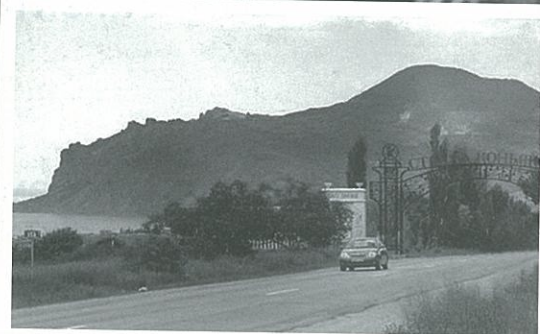
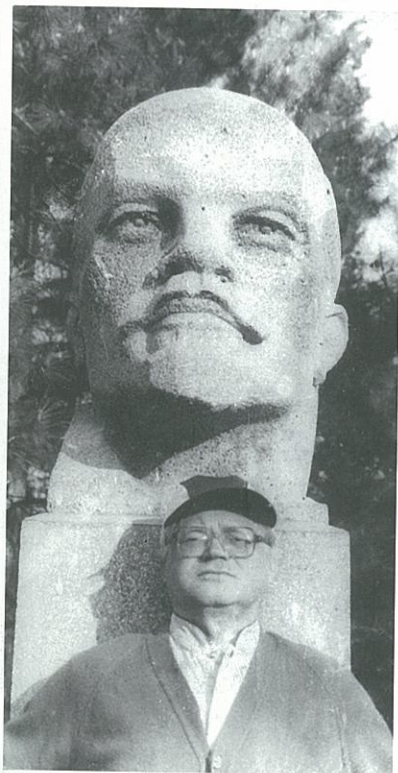
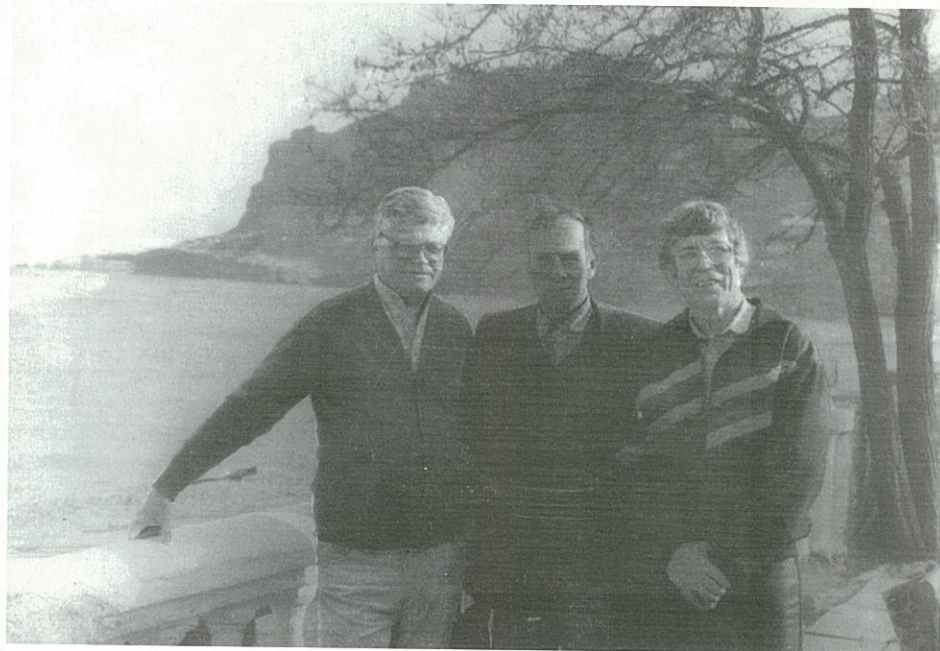
Лев
ЭКОНОМОВ

МАСТЕР

без

МАРТАРЧИ





Лев
ЭКОНОМОВ

МАСТЕР
без Маргариты



Впечатление

МОСКВА
2006

УДК 821.161. 1-94 Экономов
ББК 84(2Рос=Рус)6-4
Э40

Фотодизайн – И. Экономов

Экономов Л.А.
Э40

МАСТЕР без Маргариты. Впечатление – М.: ООО «Феникс
плюс» Союза писателей России, 2006. – 160с.
ISBN5-900616-02-9

ISBN-900616-02-9

©Экономов Л.А. 2006
©Издательство ООО «Феникс плюс»,
Издание, оформление, 2006

Лев Экономов

«МАСТЕР без Маргариты»

Разбирая старые бумаги, я случайно наткнулся на свои заметки тридцатилетней давности, сделанные мною под впечатлением встреч и разговоров в Доме творчества «Коктебель» с замечательным русским писателем из Краснодара, книги которого приковывают внимание любителей словесности, переведены на другие языки и отмечены дипломами и наградами (его имя представлено в «Советском энциклопедическом словаре»), и мне подумалось, что эти записки, собранные воедино, могут заинтересовать тех, кто хотел бы поближе узнать этого человека, и я рискнул опубликовать их, ничего не меняя, лишь исключив отдельные места, где речь шла о творчестве коллег-писателей.

Л. Экономов

«Что мы знаем друг о друге? И почему внешнее нам бывает важнее? Что мы понимаем? Что это с тем, а тот с этим? Мы подглядываем друг за другом, но скрытой жизни друг друга не чувствуем».

Виктор Лихоносов

Я приехал сюда, чтобы снова увидеть его, и не увидел. Только слова его были со мною: «Дорогой мой! Приезжай в Коктебель каждый год – и мы будем рады, и матушка – государыня Екатерина II (если бы не она, разве бы мы встретились в Крыму?!)». Шутливые и не шутливые слова на титульном листе его книги, которую он неловко сунул мне при расставании. Они были написаны поздно вечером, после застолья по случаю того, что на другой день нам предстояла дорога: мне на Север, а ему в другую сторону. Мы немного выпили и, как это иногда бывает с мужчинами, размякли, говорили друг другу хорошие слова, желали успехов. Мне хотелось, чтобы и впредь его сердце было широко распахнуто горю и радости, чтобы и дальше он служил своему народу, прославлял его историю и традиции и чтобы был таким же понятным и близким.

И вот я приехал сюда опять. А его нет. И нам на этот раз не придется свидеться. Так жаль.

На дворе уже осень. С утра до вечера идет дождь, море глухо ворочается в своей огромной изложнице и накатывает на пустынный берег тяжелые волны, оставляя на камнях клочья белой пены. Холодно и не уютно. Не хочется выходить из дома. Я стою у окна наедине со своими мыслями, смотрю, как сбегает бесконечной чередой по стеклу свинцовые струйки воды и вспоминаю.

Он был похож на отшельника, заточившего себя в четыре стены, и я все слушал нервное стрекотание пишущей машинки, завидуя одержимости человека. Нечаянно бы глянуть из-за его плеча на то, что там появилось на бумаге, о ком, о чем? Знал я только одно: не могло там появиться обыденное, пошлое.

Потом машинка замолкала и тогда тишину нарушало только шипенье прибоа в прибрежной гальке и щебетанье птиц за растворенной на веранду дверью.

Был май – едва ли не самая лучшая пора года в Крыму, и они совсем ошалели от напоенного стойким весенним благоуханием воздуха и слали свои позывные друг дружке даже тогда, когда утомленное солнце укладывалось на боковую в глубоких и мрачных расщелинах Кара-Дага и все погружалось во мглу, а щедрая луна раскатывала по уснувшему морю серебряную дорожку.

Тишина нередко затягивалась. Может писатель мучался в поисках верных слов и интонаций, таких, чтобы изумили всех, ласкали душу или прожигали ее насквозь, чтобы сложенное из них стало подстать соловьиной трели, что заставляет затаивать дыхание и забывать обо всем на свете. А может, его Пегас не выдержал изнурительной скачки по белому бумажному полю.

Слышал ли он мои пожелания успеха в работе, которую кто-то из великих назвал добровольной каторгой.

Иногда он что-то там напевал, но как ни прислушивался я – не мог разобрать слов.

И тут я невольно тянулся к лежавшей у меня на столе книге в скромном зеленом переплете, которую часто открывал, где придется, и читал всякий раз находя для себя что-то новое. Этот маленький томик я купил случайно, на книжном развале возле метро и теперь он стал моей настольной книгой.

Не часто нас радуют современники вещами, которые хотелось бы перечитать. Я смаковал каждую фразу, и душа моя пьянела от сознания, что этот человек слева тут – за стеной и я непременно увижу его.

Он не писал панорамных монументально-созидательных романов.

Его влекли люди негромкие, те, кто чаще в тени, не выделяются ни особыми делами, ни внешностью, кто умеет довольствоваться малым. Он показывал их обыденную жизнь. Он выискивал из гущи народной судьбы людей самобытных. И рисовал он своих героев такими светлыми, такими чистыми красками, что если бы даже кто-то вознамерился испачкать их, то грязь бы к ним не пристала.

Не у всех это, к сожалению, получается. Многие разменивают свои способности на то, что не имеет прямого отношения к литературному ремеслу, неразрывно связанному с жизнью народа, организованных почестей и организованной славы. Сколько настоящих, Богом данных талантов, клюнуло на сладкую приманку и теперь с сознанием своего превосходства поучает тех, кто в поте лица добывает свой нелегкий кусок. Только удастся ли прожить им так до конца дней своих? Не кольнет ли их когда-нибудь в сердце укор, после чего вдруг так ясно обнаружится своя потерянная и все предстанет в ином свете.

Я сам попросил, чтобы меня поместили рядом с этим чародеем слова, хотя воля случая или судьбы тут, наверное, тоже была. Приобретая путевку в Дом творчества, я не знал, что там собрался в это время работать и он, и только перед самым отъездом мне стало известно об этом. Обрадовался, конечно. Я много думал о Мастере, обладавшем талантом не просто вовлекать человека

в круг интересов, которыми жили его герои, но и настраивать по-особому, пробуждать своим творчеством любовь к русской земле, к ее полям, рекам и лесам, к нашим далеким предкам и к их славным делам в давно минувшие годы, когда только-только складывалась из отдельных княжеств и набирала силу наша держава. Он влюблял читателей во все то, что сам любил и чему поклонялся.

У меня была тайная думка-желание хотя бы изредка, не только видеть, но и общаться с ним. Нет, я не рассчитывал на дружбу с человеком, который поди-ка был на короткой ноге с людьми незаурядными, властителями дум, чье творчество прогремело на всю страну, было отмечено премиями и наградами, с вознесенными на пьедестал. Будучи поклонником его необыкновенного таланта, я хотел ему поклоняться – это было естественно. И хотел знать о нем больше, чтоб хотя бы чуть-чуть постичь истоки его мастерства. И пусть наши встречи будут короткими, думал я, а разговоры непродолжительными, но и они принесут пользу. Такое общение обогащает, дает нравственную опору в минуты душевных колебаний, сомнений, исцеляет.

Где-то я вычитал, как однажды Циолковский на просьбу одного из пропагандистов его космических идей прислать свою биографию ответил: «она вся в моих книгах». Думается, то же самое мог бы сказать и Мастер: когда я читаю его рассказы и повести, меня не покидает мысль, что в них он пишет и о себе, и о своей жизни. Мне казалось, он весь в своих повестях, до последней заветной мысли, которую можно угадать между строчек. И повести его и рассказы скреплены между собой звеньями его собственной судьбы. Но на то он и Мастер, чтобы «воспарить» над собою, над своими признаниями, ото-

рваться «от себя» и стать неделимой частью человечества. Это дается не каждому. Даже большие признанные писатели не всегда умели слиться душой с жизнью народа и остались в нашем сознании такими индивидуумами, салонными выразителями собственных мыслей и ощущений.

О жизни Мастера я ничего не знал и, может, потому стал придумывать ему биографию, опираясь на факты, которые открывались при чтении его рассказов и повестей, хотя и не был уверен, что ему понравятся мои домыслы. Он не любил распространяться о себе, а в разговорах не заострял внимания на своей биографии. Но кое-что о нем можно было узнать из его произведений.

Детство Мастера протекало на тихой окраине большого сибирского города. Война полной меркой отмерила ему все, что полагалось по ее безжалости мальчикам, отцы которых погибли на фронте. Испытал и холод, и голод. Единственный ребенок в семье, которая, собственно, состояла из матери и его самого. Не это ли развило в нем особую привязанность к матери? Но как почти все «единственные», он чувствовал себя одиноким и обделенным, потому что между ребенком и взрослым всегда есть возрастной барьер. С одной стороны мальчику чаще приходилось поступать самостоятельно, а с другой – доверяться старшим, все заимствовать от взрослых. Это должно было сделать его не по годам самостоятельным, решительным и вместе с тем мечтательным. И я так живо представлял его себе, точно был его другом детства.

Нелегко было матери в лихолетье уберечь ребенка от улицы, от дурного влияния, но она не проглядела его при своей заведенности и вечных материнских заботах: чем накормить сына, во что одеть и обуть, вырасти-

ла, наставила на ум. И всему доброму, светлому, что есть в нем, он в первую очередь обязан своей матери, терпеливо учившей его азам жизни: добросовестности, отзывчивости, долгу, нацеливала его на высокое и значительное. И если сейчас он слышит голос отца, о котором знал только с слов, по фотографиям, хранившимся в бабушкиной шкатулке, то этот голос исходит из материнской груди.

Он рано вышагнул из сиротливого детства в большую жизнь. Какое-то время работал на заводе. А потом (уже после войны) учеба в институте вдалеке от родных мест, в теплых степных краях, письма-наставления от матери, первые юношеские увлечения и разочарования. Все было как у всех, но далеко не многие сумели удержать это в сердце, чтобы потом, спустя годы, сделать это общим.

И вот он уже сельский учитель истории. Возможно, на этом благородном поприще он достиг бы не мало. Мог бы, скажем, пойти по стопам Макаренки или Сухомлинского, но не пошел, хотя его и любили в школе за то, что вкладывал в головы своих питомцев не только знания, но и то, что делает человека личностью, помогал им обнаружить себя, раскрыться. Ему была чужда догматика, и он не потопил себя в ворохе циркуляров и наставлений, сам решал, как поступить в том или другом случае, сообразуясь с обстановкой и полагаясь на свой ум и на свою совесть, и дети понимали его и ценили в нем творческое начало и чувство правды.

Однако, в какой-то счастливый для читателя день, я так бы сказал о повороте в его стези, он свернул на другую дорогу в жизни и вот теперь идет по ней ни тихо, ни быстро, минув один рубеж за другим, идет с мечтой сказать людям свое слово.

Вот, пожалуй, то главное, что виделось мне из тех его рассказов и повестей, которые были собраны в томике, лежавшем на моем столе.

Но мне хотелось знать о том, что же все-таки предрешило его судьбу, и о тех мгновениях, когда он «перевел стрелки» на другой путь.

А то вдруг я задавался вопросом, какие превратности судьбы заставили его уехать из Сибири, где он родился и провел детство и отрочество свое, и не в Москву, где нашлись бы и искренние друзья, и влиятельные покровители его творчества, а в чужие степные края. И что привязало его, такого легкого на подъем к тому южному городу.

Один из выведенных Мастером героев перебрался на Дон, чтобы походить по следам донского казака Григория Мелехова. Может и эта деталь автобиографична?

Почему он и потом не вернулся в родные края, о которых пишет теперь с такой теплотой и печалью, почему навсегда расстался с людьми, которых знал и любил?

Был ли он доволен своим новым пристанищем, где вроде бы успокоился, свил гнездо, нашел свою судьбу? Не манила ли его обратно Сибирь с ее березами и снегами? А если манила, если напоминала о себе, то как он усмирять свое мятежное сердце и в чем находил утешение?

Я пытался представить, как он теперь живет вдали от студенной чалдонской земли («зачем я покинул тебя?»), от огромной Барабинской степи и Чулымских озер, за которыми стелются и влекутся на запад воспетые центральные земли Руси.

И еще хотелось знать: обрел ли он на новом месте единомышленников, с которыми можно было бы перекинуться добрым словом.

И почему-то думалось мне, что в скитаниях по Руси, в странствиях по ее путанным дорогам находил он утешение своей беспокойной душе, в непринужденных разговорах на ночлеге с простыми людьми, которые не думают день и ночь о животе своем? Живут открыто, неприхотливо, знают много народных поверий и притч, семейных преданий, бывальщин, умеют от души веселиться, петь песни и частушки, а о себе рассказывают без утайки.

Его влекли судьбы простых людей, наделенных чертами, которые так характерны для русского человека.

Беседуя со старожилами о прошлом, выпрашивая историю тех мест и о том, кто жил там, кто наведывался туда или проезжал мимо – из великих мужей земли русской, он с радостью отмечал, что и до него были такие же, как и он люди и у них были те же желания и те же мечты.

И я представлял себе, как он бродил по лугам и лесам усталой походкой скитальца. И может тогда, где-нибудь возле ясной ласковой речки или на пустынной дороге под звездами, где время не напоминало о себе, не подгоняло, в единении с травами и ветрами и открывались в его душе незримые двери, чтобы впустить все увиденное и услышанное внутрь.

И тогда я задавался вопросом: почему во всех его произведениях слышится авторский голос? Рассказывая о ком-то, Мастер вдруг как бы проникал в душу этого человека и, повествуя о нем, говорил от себя его словами. Эта слитность со своими героями меня изумляла.

Правдивость – одна из характерных особенностей его прозы. Правду, что порой глядит на нас с его страниц, он нашел в потоке жизни во время общения со многими десятками людей из простой среды, где привыкли обо всем говорить открыто, честно, без оглядки на авторитеты, без боязни потерять высокую должность, насильственное место, бесплатную путевку на ведомственный курорт, лечебные деньги или зарубежную поездку.

Сидя в своей, затененной деревьями комнате, которая была во всем подобна той, где творил Мастер, я пытался вообразить его внешность и свойства характера.

Говорят: душевный настрой писателя можно узнать по его произведениям. Однако душевный настрой повествователя мало зависит от его внешности, и по нему не определишь лицо, походку, жесты, да и характер не всегда можно угадать.

Конечно, я и мысли не допускал, что Мастер непригляден, а тем более безобразен. Как-то не увязывается в моем представлении хорошее и плохое в одном лице.

Складывалось впечатление, что он еще далеко не стар (родился перед самой войной), не толст, а скорее всего из худых, ест мало, разговаривает тихо, много курит, чуток, отзывчив, скромен, может даже застенчив, хотя и прячет это, но цену себе знает, а вернее не себе, а своему таланту. И, как иногда случается в обстановке организованных почестей и круговой поруки, считает себя где-то ущемленным, обделенным.

В столовой я старался угадать, кто же среди обедающих – Он. Это стало своего рода игрой – угадать

нужного мне человека. Я бы мог, конечно, выследить Мастера, сел бы с газеткой на лавочке напротив его веранды и сидел бы, как тот детектив, до победного. Наконец, мог бы спросить о нем у знакомых официанток – показали бы. Но что-то удерживало меня.

Уже не раз мое внимание обращалось к столу в самом углу у окна, за которым сидело четверо мужчин и одна женщина. Случалось, они приходили позже других и оставались, когда в столовой пустело.

Двух мужчин из этой дружной компании я уже видел возле своего дома, когда они где-то ближе к полудню пробирались по узкой дорожке в цветнике к веранде моего соседа.

Тут я должен заметить: несмотря на то, что Он вел тихий и замкнутый образ жизни, держался в тени, к нему ежедневно наведывались люди, и чаще всех приходили эти двое.

Один был чуть выше среднего роста, несколько рыхловат. Остриженные под бобрик волосы напоминали мне серую прошлогоднюю траву. Казалось, запусти в нее руку – и она зашуршит, начнет ломаться. Держался он осанисто, значительно, чему в немалой мере способствовали строгие очки в тяжелой оправе.

Улыбка у него была сдержанной, а в глазах таилась строгость и настороженность. Он чем-то напоминал пастора.

Другой был по-обезьяньи приземист, упитан, но не толстяк отнюдь, с живым интеллигентным лицом и длинными, вроде как напояженными, волосами, спадавшими легкими, блестящими на солнце завитками на покатые плечи. Он обычно шел на полшага впереди, выставив вперед корпус и локти чуть оттопыренных рук. Так обычно выходят на борцовский ковер.

В его улыбке было что-то лукавое, только одному ему известное. Такие улыбки, чаще всего, вызывают недоверие, в них чудится подвох. Если бы он вдруг подставил ножку степенно шагавшему за ним «пастору», я бы, наверное, не удивился.

Мне доводилось видеть эту двоицу и в других местах.

Утром они горделиво шествовали в длинных махровых халатах и босиком к морю и казались неотделимыми друг от друга. Делали заплывы на удивление собравшихся возле парапета отдыхающих – вода в море была очень холодной. Сразу после завтрака или обеда они чаще оказывались в обществе суетливой голубоглазой старушки и ее неторопливого улыбчивого мужа. Эти супруги были с ними сама любезность и обычно поджидали их возле столовой у каменной балюстрады, отделявшей набережную от пляжа.

На этом «пяточке» в часы, отведенные для завтраков, обедов и ужинов, собирались чуть ли не все обитатели Дома творчества, среди которых немало было и просто отдыхающих, не имеющих никакого отношения к писательскому ремеслу и может по этой причине проявлявших к пишущей братии повышенный интерес.

Я пытался угадать, что бы могло увлечь Мастера кроме писания. Может, его хобби было искать следы минувшего, что прославило Россию, чем можно было гордиться? Копаться в старых книгах и журналах, где рассказывается о прошлом русского народа? А может, он коллекционировал слова и речения, в которых видны родные народные корни и национальное своеобразие

Однако, вернусь к тем двум визитерам моего соседа, которые чаще других навещались к Мастеру.

Ближе к вечеру они обычно играли в теннис, сгоняя лишний жирок, после чего снова купались.

Тот, что походил на пастора, носил просторный мешковатый костюм из джинсовой ткани, а тот, которого я сравнил с борцом, был сама респектабельность и элегантность, то и дело менял рубашки и брюки, как это часто делают на отдыхе молодящиеся мужчины, точно выставлял себя на обозрение. Бросались в глаза его ядовито-оранжевые туфли из вельвета, точно он хотел ими ошарашить окружающих. И все, действительно, тарасились на его экстра-пижонские туфли, на то, как он шел в них, слегка загребая ногами.

– А где он там? – неестественно громко и чуть нараспев говорил идущий впереди, сияя лучезарной улыбкой, и вот останавливался на мгновение у барьера веранды, ожидая приглашения.

Они слишком часто навещались к моему соседу и, думается, мешали ему, отвлекали от дела. И не только они.

Приходили вышеупомянутые старуха со стариком в ярких (не по-возрасту) спортивных костюмах, которые, увы, не делали их спортивными. Он с простецкой мало-выразительной физиономией напоминал сонного медведя, а она чем-то походила на лису из русской сказки, то ли своей елейной улыбкой, которая не сходила с ее морщинистого обильно наштукатуренного лица, то ли вкрадчивой кособоким походкой.

Ежедневно бесшумно возникал у барьера веранды высокий сухопарый и сутуловатый мужчина с болтающимися руками в приспущенном на глаза коричневом модном берете. У него было тонкое болезненное лицо и аккуратные усики. Он тоже улыбался тихой извиняющейся улыбкой и чем-то напоминал мне (может пид-

жаком из светлой дерюжки и яркой косынкой на шее) художника или артиста. Этот долго не задерживался. Иногда его вроде бы и вовсе не жаловали там, за каменной стеной, что разделяла мою и Мастера веранды.

Но чаще все-таки Мастер принимал гостей и они некоторое время беседовали. Кажется, визитер читал стихи и я подумал, что это поэт (мое предположение впоследствии подтвердилось). Скоро мы стали обмениваться с ним при встрече дружественными улыбками. При этом он чуть наклонял голову и по-старомодному касался узловатой рукой с массивным перстнем своего берета.

Иногда на веранде у Мастера завязывался громкий разговор с визитерами. Собственно, слышен был только голос человека в красных ботинках. Однажды он провозгласил тост за здоровье матери моего соседа и сказал в ее адрес много хороших слов, а мне в эти минуты вспомнилась повесть Мастера, в которой одним из главных действующих лиц была мать. Судя по описанию, нрав у нее был мягкий, радостный. Если ее обижали соседи, то зла не помнила, и ей легко и трудно было среди людей. Видимо, Мастер многое унаследовал от матери.

Похоже было, что мой сосед привык к вниманию, относился к посещениям всех этих, подпавших под его обаяние людей, как к должному. Но интуиция подсказывала мне, что он сам не отличался общительностью и, скорее всего, был, как говорят о таких людях, сам по себе.

Таким образом, двое из четырех мужчин, сидевших за столом в углу зала, исключались. Оставались еще двое. Один из них широкоплечий с бычьим загривком и добродушной свирепостью во взгляде и рядом с

ним субтильная блондинка с постным лицом, как скоро выяснилось, оказались супругами.

Если мой сосед сидел за тем же столом, значит им был тот, кто меньше всего обращал на себя внимания – мосластый (про таких иногда говорят – поджарый) с узким четко вылепленным лицом и светло-русыми, с некоторой рыжиной, слегка выющимися волосами. Он больше молчал, только слушал внимательно и иногда улыбался. Хорошая у него была улыбка, мягкая, искренняя и вместе с тем вроде бы как задорная и грустная одновременно.

И вот однажды мне повезло. Прогуливаясь по парку, я поравнялся с идущим в том же направлении человеком, который, по моим предположениям, мог быть тем самым писателем, что жил за стенкой. На нем была розовая полосатая рубашка, темный потертый пуловер крупной вязки и светлые шерстяные брюки. В зубах торчала потухшая сигарета.

Не показался он мне как-то в ту минуту вблизи. Черты его лица хоть и нельзя было назвать резкими, но и мягкости в них, которая так подкупает при встрече, я тоже не обнаружил. Вроде бы как сам себе на уме был человек, далекий и безразличный. И только хорошенько вглядевшись в него, я увидел: вроде ничего, такой молчаливый на вид, даже где-то красивый той неброской красотой, какой отмечены многие русские люди. И еще: какая-то незащищенность проглядывала в нем, какая-то обнаженность.

Некоторое время мы шли рядом. Он взглянул на меня скучающе, как глядят на незнакомых людей и отвернулся, видно, о чем-то думал. Походка у него была легкой, бесшумной, даже вкрадчивой и во всем его об-

лике угадывалось что-то спортивное. И вместе с тем некоторая небрежность или неухоженность. Он напоминал человека, который когда-то активно занимался спортом, а потом бросил и чуть опустился.

И тем не менее, в нем было что-то притягательное. В прежние времена такие лица выбирали художники, писавшие картины на религиозные темы, и скульпторы, ваявшие отшельников.

И тут меня словно кто-то за язык потянул. Я, кажется, извинился, а потом назвал его имя.

— Это ведь вы?! — сказал я с мальчишеским нетерпением.

Он чуть наклонил свою кудлатую голову с намечавшимися залысинами и посмотрел на меня, прищурив и без того небольшие умные глаза, словно до этого момента и не видел меня вовсе.

— А-а-а?

Я подавил волнение и повторил свой вопрос уже громко. Он чуть усмехнулся и утвердительно кивнул, и тогда я выпалил ему, что являюсь его соседом, знаком с его творчеством, в восторге от его вещей.

Он снова кивнул и бросил окурочек в кусты. Моя тирада не имела никакого КПД.

— И как это вам удается так сплавить слова, что прозу не отличишь от стихов? Ваши вещи звучат как музыка.

Я был безвкусно многословен, суетлив, неестественен и не узнавал себя.

Он не стал прерывать моих излияний, не стал благодарить за выражение признательности его творчества, слушал и молчал, а может, и не слушал, может, он привык к подобным речам своих почитателей. И это его молчание меня отрезвило, я прервал себя, как говорит-

ся, на полуслове. А он вдруг замедлил шаг, окинул меня с ног до головы оценивающим взглядом, впрочем, отнюдь не высокомерным, а скорее ласковым и спросил мое имя.

Я представился.

— Не слышал, — сказал он, вряд ли думая, что эти его слова мне могут показаться обидными. Я бы, наверное, на его месте схитрил, сказал бы, что где-то попадалось это имя и попросил бы собеседника назвать свои произведения. Как видно, сосед мой не отличался любезностью и не умел или не хотел хитрить.

Я счел нужным сказать, что пишу на военную тему и вдруг понял, что его не интересуют ни я, ни моя военная тема.

У меня была еще одна маленькая зацепка для разговора, и я не преминул ей воспользоваться.

— У нас с вами есть общие знакомые, — сказал я.

— Кто?

— Я назвал фамилию женщины, которая работала с очень близким мне человеком в редакции молодежного журнала. Мне было известно, что эта женщина тоже без ума от творчества Мастера. Собственно, от нее-то я и узнал, что он будет в Коктебеле, в одно время со мной.

— А-а-а, — протянул он без каких-либо эмоций и назвал нашу общую знакомую по имени и отчеству. — Она просила, чтобы я написал для журнала рассказ. А я не соберусь все. — Говорил он мне это с каким-то подчеркнутым равнодушием, как бы давая понять, что таких знакомых у него много и он не выделяет эту женщину из числа других.

И снова воцарилось молчание, и я не знал, что сказать еще. Это в моем-то возрасте, смешно.

В самом деле, почему я, уже немолодой, прошедший войну, встречавшийся с разными людьми, робел перед Ним, который, кстати сказать, был на десять лет моложе меня? Осталось успокаивать себя словами Чехова, который однажды сказал с грубоватой шутливостью: «трудно работать, но работать все же надо, особенно нам, русским, и вообще надо быть смелым. Есть большие собаки и есть маленькие собаки, но маленькие не должны смущаться существованием больших: все обязаны лаять — и лаять тем голосом, какой Господь Бог дал».

— Вы часто бываете здесь? — продолжал я, все еще надеясь нащупать тему для разговора.

— Бываю. Здесь хорошо — сам себе хозяин.

— А я последний раз был тут несколько лет тому назад и вижу, что почти ничего не изменилось.

Он кивнул:

— И тут скоро не будет тишины — он грустно вздохнул.

А мне тут же пришел на память разговор с таксистом, который подбросил меня из Феодосии в Планерское. Он сказал, что по перспективному плану со временем Коктебель должен принять организованных отдыхающих в восемь раз больше — это почти двадцать пять тысяч. И плюс еще дикари, которых с каждым годом становится все больше. За тишиной и первозданностью писателям придется ехать в другое место.

— Вы, однако, много работаете.

— Нет, — поморщился он. — Очень мало. И ругаю себя. Лучше всего тут весной, — сказал он. — Оттаиваешь душой.

Говорил он негромко, несколько глуховато, чуть растягивая слова и все как-то щурился при этом, то ли

от солнца, которое заливало аллею, то ли у него была такая привычка. И я никак не мог разобрать цвета его глаз.

Мы подошли к своему дому.

— Заходите в гости, — пригласил я.

— Как-нибудь потом.

— А что мешает?

— Вчера просидел допоздна, смотрели по телевизору футбол, потом резались в карты. А сегодня пригласили на день рождения.

Стало ясно: он не из тех, кто быстро сходится с людьми и я почти оставил надежду на то, что мне удастся хотя бы чуть-чуть с ним сблизиться.

Всего лишь раз я прошелся с Мастером, а уже подметили со стороны. На следующий день ко мне подошли девушки: одна высокая и мрачноватая на вид, другая приземистая, хроменькая, улыбчивая, и без каких-либо обиняков попросили с настойчивостью, какую не часто ожидаешь от незнакомых людей, чтобы я познакомил их с Мастером. Я вообще-то не удивился этой просьбе. В своих произведениях Мастер, пожалуй, отдавал предпочтение женщинам, рассказывал о их нелегкой жизни в годы войны и в тяжелые послевоенные годы, о их сердобольности, доброте. Все его рассказы и повести проникнуты любовью к женщине.

У хроменькой оказалась в руках книга с произведениями Мастера, ранее мне не встречавшаяся. Я попросил взглянуть на нее и, раскрыв, увидел на первой странице его портрет. Писатель был сфотографирован в профиль. Слегка выющиеся волосы по-мальчишески торпорщились, взгляд был задумчив и ласков. Что-то трогало до глубины души в этом портрете, как трогала до глу-

бины души его проза, такая теплая, такая ласковая и такая приворотная.

— Нам надо, очень надо, — говорила хроменькая, оперевшись на палочку, с придыханием, — побеседовать с автором этой книги. Вы понимаете.

Конечно, я понимал этих девушек.

— Помогите нам. Познакомьте нас.

— Да я сам с ним знаком не больше, чем с вами.

— Ну, как же! Вы шли с ним вчера вечером и разговаривали. Мы видели.

— Я и с вами вот разговариваю. Вместе с тем, мы даже не знаем, как звать друг друга. Не так ли?

— Ну и что с того. Все равно познакомьте.

Я развел руками.

— А удобно нам будет подойти к нему? Он доступный?

Я не знал, что им ответить на это.

— Судя по его книгам он очень простой, элементарный. Но думается и сложный одновременно, — продолжала хроменькая. — С ним, наверное, не легко говорить.

Я и тут не знал, что ответить. Хотелось спросить, о чем они собираются говорить с ним.

— А где он обретается? — подала голос мрачноватая.

Наш разговор проходил чуть в стороне от аллеи, проложенной вдоль коттеджей, в которых жили писатели. И вот когда я назвал девушкам номер нашего дома, вдали показалась знакомая щуплая фигура. Засунув в карманы руки, Мастер медленно брел по дорожке к себе домой.

Мне не хотелось выводить его из задумчивости, но когда он поравнялся с нами, они сами увидели его.

— Окликните его, — попросила хроменькая. — Пусть к нам подойдет.

И я вдруг поддался ее просьбе и окликнул Мастера, впрочем, не очень уверенно, окликнул, когда нам видны уже были его худые лопатки.

Мастер не оглянулся.

Я подумал, что он не услышал своего имени и окликнул его снова, уже довольно громко. Но и на этот раз мой голос не дошел до его слуха. А может, Мастер не подавал виду, что слышит меня. Всего скорее, так оно и было, потому что я увидел, как он втянул голову в плечи и ускорил шаг, точно хотел быстрее миновать опасную для себя зону и это обстоятельство почему-то несколько удручило меня. Мне сделалось неудобно перед девушками. А они вдруг словно очнулись. Мрачноватая почти выхватила у меня из рук книгу и обе девушки, оставив меня в растерянности, устремились вслед за Мастером.

Не знаю, догнали ли они моего соседа (аллея сделала поворот), поговорили ли с ним. Я не мог не позавидовать в эту минуту Мастеру. Но это была хорошая зависть. Я радовался и его известности, и тому, что его творчество находит путь к сердцу молодежи, которая всегда знала, кого надо любить и кого не надо.

Шли дни. Мастер продолжал волновать меня, притягивал к себе и я прислушивался к тому, что делалось на веранде, за каменной стеной.

Наверное, не было такого дня, чтобы к нему кто-то не приходил и чаще всех те, кто сидели с ним за одним столом, слышно было, как они оживленно разговаривали по поводу показанного накануне по телевизору матча, как читали какие-то кусочки из только что написанного кем-либо из них.

И я продолжал им завидовать. Однако, долго они не задерживались и как только уходили, снова начинала трещать машинка.

Дважды он сам появлялся около моей веранды и просил ножик. Он был холодно приветлив и лаконичен. В его поведении чувствовалась какая-то напряженность и нетерпение скорее взять нужную вещь и уйти в свою келью отщелкивать на машинке свои слова. Он словно опасался, что я втяну его в разговор.

И я, действительно, пытался снова завладеть его вниманием, показал Мастеру его книгу.

— Там есть опечатка в предисловии, — в руках у него вдруг появилась ручка, он открыл свою книгу и вычеркнул одну единственную букву в одном единственном слове, после чего смысл его несколько изменился и тут же на полях страницы расписался. Так впервые я неожиданно завладел его автографом.

— Нет ли у вас что-либо почитать, — спросил я скорее для того, чтобы как-то хотя бы на секунду удержать его.

— Есть русско-французско-немецкий разговорник старого времени.

— Нет, это не для меня, — сказал я, подумав: зачем нужен ему этот разговорник здесь, в Коктебеле.

Разговора у нас не получилось.

Я не знал, где он пропадал вечерами, когда все вокруг уже погружалось в сон и только ежи, которых было полным полно в нашем парке, выходили на добычу к тем местам, где детишки оставляли им днем еду. Включив свет на веранде, я наблюдал за тем, как они рыскали в кустах сирени в поисках пищи. Я бросал им кусочки хлеба под нос и за этим занятием меня иногда заставлял возвращавшийся домой Мастер, он появлялся

бесшумно и скрывался в своей келье. Ни разу он не сказал мне ни слова, ни полслова. Движимый каким-то любопытством, я иногда входил в сад, садился на лавочку и смотрел на его окно сквозь ветки с мелкими белыми цветочками, густо усыпавшими весь куст — это деревце называли тут невестой. Окно, как всегда, было задернуто шторой.

Ложился он поздно и вставал тоже поздно. Я был далек от того, чтобы шпионить за Мастером, ходить за ним по пятам, но если он вдруг оказывался в поле моего зрения, не мог удержаться от того, чтобы не понаблюдать за ним со стороны.

Однажды шел за Мастером по улице поселка, ведущей к морю, впрочем, на почтительном расстоянии, как бы сам по себе. В самом конце ее, где есть спуск к пляжу, он неожиданно для меня повернул направо к невысокому, похожему на блюдо, плато с названием Тепсень («тепсе — блюдо, тюркск.), где когда-то очень давно находилось большое средневековое городище. Его названия теперь уже никто не знает. Но здесь и по сию пору сохранились остатки разрушенных построек, в числе которых — фундаменты христианских храмов. Археологи установили, что оно возникло на рубеже VII–VIII веков, а спустя два столетия стало одним из самых знаменитых в юго-восточном Крыму и занимало площадь в двадцать гектаров. По существу это был уже город, в начале X века его разрушили печенеги. О прошлом Тепсеня мне рассказал старый археолог Павел Николаевич Шульц, дом которого стоял тут же неподалеку. Шульц принимал участие в раскопках городища и проводил разведочные работы в окрестностях Коктебеля и Кара-Дага.

Мастер остановился и поднял с земли кусок черепицы, это мог оказаться осколок от древних амфор и пифос, внимательно рассмотрел его. Достигнув места раскопок, присел на возвышавшийся над землей фундамент стены, достал из пачки сигарету, закурил, а упаковку с оставшимися сигаретами отбросил в сторону, чтобы не соблазняла. Это он так пытался отучить себя от курения. Но у него ничего не получалось. Через какое-то время снова бежал в магазин за куревом. И все повторялось таким же образом. Иногда я оказывался рядом, незаметно поднимал выброшенную им пачку, и, когда Мастеру приспичивало, давал ему сигарету из выброшенной им упаковки.

О чем он думал, сидя на фундаменте древней стены с сигаретой в зубах, не знаю. И потому позволю себе некоторую вольность в изложении, хотя и знаю, что это ему не понравится.

Возможно, он в те минуты думал о прошлой жизни людей, кости которых покоятся в большом могильнике в северо-западной части поселения. Кто были эти люди, жившие в больших каменных домах с застекленными окнами. Стекло это изготовлялось тут же, в Тепсене. На месте раскопок были найдены формы для литья металлических изделий, византийские и арабские монеты, ювелирные поделки. Знал ли он, кто основал город, от которого почти ничего не осталось, и кто принес людям христианскую веру?

Мастеру, конечно, было известно (об этом теперь можно прочесть в путеводителе сегодняшнего Планерского), что в XIII – XIV веках Тепсень снова ожил, на этот раз центральной частью его стал порт. Однако по какой-то причине он снова канул в небытие.

Судя по произведениям Мастера, у него было особое, я не знаю какое по счету, чувство – всегда вместе с настоящим видеть прошлое своей Отчизны, своего народа. Склоняясь над могилой кочевника, он обращался думами к детству Руси (опять же мои предположения), когда русичи вели вековую тяжбу с воинствующими соседями – кочевыми племенами: печенегами, половцами, монголами, которые обретались в обширных степях, на востоке. В его сердце жили легенды, сказки, поучения того времени. И мне казалось, рассматривая старую полуистертую надпись на камне, он слышал топот копыт, ржанье лошадей, свист стрел, звон клинков, гортанные выкрики врагов и призывные кличи атаманов русских ватаг, слышал тишину после побоища, когда только ветер колышит чубы буйных голов на политой кровью земле, может, потому такой и родной, такой печальной. Это было зовом из глубины веков, и Мастер отзывался на него своими творениями, в которых боготворил все то, что сделали для потомков наши пращурь. В нем жил историк: его оскорбляло умничание и предвзятость тех (это опять же только мое предположение) кто называл себя творцами истории и культуры, утверждая, что с них-то она только и началась, а до этого на Руси были хаос и запустение. Он защищал свое Отечество от тех, кто с подозрительным тщанием выискивал и смаковал слабости русского народа, слабости, которые в грозный час, при самых тяжелых испытаниях судьбы оборачивались в необоримую силу. Он, как-то очень ненавязчиво, призывал, чтобы мы изучали историю государства Российского, любили великий русский народ, который во все века обладал терпением, был верен и предан своей Отчизне, ее обычаям и культуре, гордился тем, что предки даровали нам ходить по русской земле, где покоятся кости

великих пращуров Руси, полной грудью дышать ее духом.

Воскрешая «пропавшие картины прошлого» он, наверное, многое бы хотел возродить из того, что стало уходить из обычаев русского человека под напором Бог весть откуда нахлынувших черствости, деловитости, что именуют теперь «ритмом нашего времени». Ему претили неискренность в отношениях, ложь, притворство. Он ценил заботливость о других, сочувствие чужому горю. Говорят и пишут об этом больше чем нужно, призывают друг друга, но призывы эти нередко остаются только призывами на бумаге и транспорантах, в которых сейчас тоже нет недостатка. Для кого же они, спрашивается? Чтобы заморочить кому-то голову, втереть очки?

Судя по произведениям автора, он любил бывать в старых русских городах, привольно раскинувшихся по берегам великих рек и озер.

Возьму на себя смелость войти в образ Мастера и соприкоснуться с тем, что он мог увидеть, услышать и почувствовать, соприкасаясь с прошлым, хотя и наперед зная, что попытка моя может оказаться очень приблизительной, а местами далекой от действительности – ведь я могу только предполагать. Но все-таки рискну с надеждой, что Мастер не осудит слишком строго мое виденье.

И вот, оказываясь там, осматривая древности, он заглядывал в букинистический магазин и подолгу копался в книжных развалах, выбирая старые связки журналов, что пылятся где-то на книжных полках, радовался, находя в них нужные мысли и отмечая про, себя духовную тонкость тех, кто писал. И как хотелось ему с кем-то из библиофилов разделить умиление.

А если располагал временем, то наведывался и в местную библиотеку, или в архив. А когда отыскивалась ветхая книга с описанием истории города, обычаев и того, чем жили, что волновало когда-то обитателей этого города, то и сам переносился душой в те забытые времена, пытаясь понять и оценить дела давно минувших дней. И поднимался из-за стола только тогда, когда служитель выключает свет.

— Не часто нас навещают такие книжники, — вздыхал служитель и просил приходить завтра, обещал подобрать что-нибудь особенное. Иногда завязывался разговор, находились общие мысли о том, что не зная истории и традиций народных, его вековых чаяний и надежд, нельзя сделаться понятным и близким и в отрыве от этого нельзя сформировать общественную активность.

Мастер приходил. Что он все-таки искал в старых фолиантах? Потерянные корни России, позабытую правду? Хотел знать: во имя чего, по каким заветам жили наши далекие предки, как решали вопросы добра и зла?

Его привлекало в истории все то исконное, чем можно гордиться, что украшало русское государство. Думая о жизни первых великих и безызвестных поэтов Руси, он удручался, что не находил нужных слов, которыми можно было бы «выразить восторг и до слабости высокую печаль сердца».

Растревоженный словами летописцев и кельников он долго бродил по уснувшим улицам и улочкам города, испытывая радость и благоговение от недавнего общения с прошлым и от того, что нашел поддержку своим беспокойным мыслям.

Он забредал в тихие уголки и думал о жизни, которая проходила тут вчера и сто лет назад, находил приметы этой жизни, изумляясь и ликуя, если удавалось обнаружить связь времен.

Иногда останавливался в пути перед какой-нибудь церковью и, задрав голову, грустно смотрел на порушенную колокольню, на дырявые луковицы куполов. И думал: кто строил? Когда? По какому знаменательному событию? То ли святая икона открылась в этом месте, то ли в честь победы над иноземным врагом. И почему теперь этот памятник прошлому, стены которого некогда хранили древней красоты росписи, выглядят так сиротливо и так убого? Неужели не осталось в сердцах человеческих уважения к преданиям глубокой старины, к труду праотцев своих?

Сейчас даже на паршивой поделке из картона или пластмассы увидишь ярлык и по нему узнаешь где, когда и кем изготавливалась она. И цена обозначена, копеечная цена.

Воздвигая изумительные шедевры, древние мастера не думали о личной славе. Для них достаточно было славы русского народа, достаточно было сознания того, что их творения будут стоять века. Не узнать этим безвестным мастерам, что их потомки так надругались над трудом своих пращуров. А если бы узнали, то, наверное, перевернулись бы во гробах своих.

Молчали серо-зеленые израненные стены. Безмолвствовали и ждали своего часа, когда пробудится в народе гордость за свое славное прошлое и он примется исправлять свои ошибки, совершенные в угаре «великих» преобразований.

Мастер слышал благовест (слово-то какое) и вслед за ним льющийся от горизонта до горизонта гус-

той перезвон державных колоколов и подголосков, представлял обряженных в яркие сарафаны баб с пестрыми узелками в руках (теперь такое увидишь только на сцене), мужиков в картузах с переброшенными через плечо сапогами (их надевали перед церковью), вездесущих простоволосых и босоногих ребятишек, нищих и юродивых с протяннутыми ладошками у каменной паперти. Церковное песнопение, запах дегтя, мяты и ладана. Нет, он не жалел об этой канувшей в вечность жизни, не завидовал своим предкам, но ему хотелось, чтобы об этом времени знало новое поколение, ибо только в этом случае и можно по-настоящему понять перемены жизни, оценить настоящее.

Познавая прошлое, человек познает себя, сравнивая его с настоящим, видит насколько он продвинулся в своем развитии и что не забыть взять с собой в эту новую жизнь, о которой потом расскажут в книгах, и что оставить, как оставляем мы, переезжая на новую квартиру, пришедшие в негодность вещи. Без знания истории человек не может стать гражданином.

Он хотел, чтобы время от времени можно было приближаться к старой жизни, приближаться через ее вещественные доказательства.

И радовался, видя свежие леса на старых строениях и озадаченных мастеровых людей, пришедших сюда восстанавливать руины. Может, завидовал им, представляя, как дотошно они будут рыться в местных архивах и библиотеках, отыскивать следы минувшего, спрашивать у старых бабок, как тут все было. Что-то найдут, узнают, что-то домыслят, опираясь на свою ученость, и примутся за дело.

И опять поднимутся в небо купола, засияют на солнце золоченые кресты, чтобы видели все — не на голлом месте росла наша новая жизнь. Во все века славился русский народ своими умельцами. И пусть имя их кануло в вечность, но дела рук их остались.

Конечно, много не досчитаются новые мастера, восстанавливая убранство старых храмов. Поручены фрески на стенах и сводчатых потолках, разбиты цветные изразцы и витражи, сожжены иконы, брошены в тигли державные колокола, чтобы отлить из звонкой меди подшипники для машин.

Многого не вернуть, многое придется делать заново. Экскурсоводы потом будут говорить: смотрите, так было.

А так ли? Кто может поручиться, что новые живописцы сумеют вдохнуть старую жизнь в свои творения. Ничего не повторяется в жизни, если она идет даже по спирали. И один виток не похож на другой, потому что сделан другими людьми. Если бы даже кто-то и захотел восстановить звонницы, то как он это сможет сделать, чтобы был тот же подбор колоколов с ярко выраженной индивидуальностью в голосах и то же звучание, та же гармония звуков. Кто назовет теперь сплав для тех колоколов, кто их отольет? Кто научит искусству звонаря? Перевелись таковые на Руси. И теперь мы едем слушать колокольный звон, которым славилась Россия на весь мир, за пределы своего огромного государства.

Ну да что делать. Лучше так, чем никак. Придет время и обновленное станет древностью. Станет! Если не появятся новые головотяпы. Ведь от этого мир не застрахован.

Может быть так, а может, и не так описал я чаяния Мастера, представив себя на его месте. Одно мне думается достоверно: читатели благодарны Мастеру за то, что его книги приковывают внимание к истории русского государства, а точнее — воспитывают уважение к нашей истории и приглашают к углубленному ее изучению и к активной ее защите. Мастер как бы ненароком формулировал в уме читателя вопросы и разжигал у него желание найти ответы на эти вопросы. В самом деле, кто из нас по прочтении его повестей не захочет узнать о судьбе князей Бориса и Глеба, убитых братом Святополком или о той истории, про которую Мономах сказал: «Такого зла никогда не бывало в Русской земле ни при дедах, ни при отцах наших». О чем это? Мастер поставил три точки словно для того, чтобы пробудить в читателе интерес к роковой тайне.

Многое мы делаем с запозданием. И вот летят миллионы рублей на ветер только потому, что не сумели сохранить сразу, разрушили, растащили или по недомыслию или по указке коварных людей, не заинтересованных в истории русского зодчества, русской живописи.

Если судить по тому, что написано Мастером, его уход в историю не является бегством от современности. Он всегда увязывает вчерашний день со днем сегодняшним и с тем, который настанет. История для него была критерием определения человеческой личности. Он как бы утверждал, что человек не может развиваться гармонично вне развития и хода истории.

Когда Мастер оставался наедине с самим собой, например, во время прогулок по набережной, когда он брел, никого не замечая, или стоял возле дома-музея Максимилиана Волошина у парапета с неизменной сига-

ретой в зубах и смотрел на то, как дышит море, его лицо удивительно молодело, расправлялись морщины на лбу и щеках. Он напоминал мне пилигрима, пришедшего поклониться святым местам, очарованного увиденным, с сознанием того, что ему не надо тратить на суету, на пустопорожние разговоры, к кому-то принаравливаться, от кого-то зависеть.

Мне нравилось смотреть на него в эти минуты. И мне казалось, что я слышал в эти минуты, как плывет откуда-то издалека, может из прошлого, тихая задумчивая музыка, так напоминавшая мне «Одинокое странника» Грига.

Мне неизвестно, может, в это время он обдумывал то, о чем собирался писать, слушал свой внутренний голос или разговаривал с далеким единомышленником, вверял ему долгие сокровенные думы.

А может, он мысленно общался с писателями, которые жили когда-то тесным кругом в Доме Поэта, прогуливались по этой же самой набережной, обсуждая свои творения, ставшие теперь бессмертными. Алексей Толстой, Пришвин, Брюсов, Булгаков, Вересаев, Марина Цветаева, Лавренев, Андрей Белый, Леонов, Тренев, Сельвинский и многие и многие другие работали здесь над своими произведениями еще при Волошине. И Мастер, возможно, завидовал им, их жизни и общению друг с другом. С каким бы удовольствием он послушал их.

Наверное, хотелось ему, чтобы писатели ценили друг друга и то, чем они занимаются, чтобы были рыцарями пера, прославляли добро, а не превращались в чиновников от литературы, которые, отойдя от своего ремесла, начинают мешать другим, поучают, разносят, унижая своего недавнего собрата только за то, что он не такой, как они и не желает быть таким. Он скучал по пре-

красным людям, с которыми можно говорить обо всем на свете, без оглядки на чины и авторитеты.

Он приезжал на следы великих, ходил по тем местам, где они жили, и думал о их неповторимых судьбах, о их творениях, по сию пору волнующих наши сердца, так истосковавшиеся по настоящему правдивому слову, которым не больно-то балуют нас современные писатели, озабоченные иного рода заботами.

Что двигало Мастером, когда он оставлял свое дело, семью, друзей и отправлялся к заповедным местам: в Тригорское, Константиново, Ясную Поляну?.. Нет, отнюдь не любопытство! И не для того, чтобы забыться, хотя, наверно, мечтал об этом в суетности. Что он искал в старых усадьбах, где все давно умолкло и только тронутые временем реликвии свидетельствовали о прошлой жизни, о давно угасших страстях.

Видно, он наделен даром переноситься в прошлое, видеть то, что для других кануло в небытие, воскрешать старые голоса, чувствовать то, что чувствовали великие сыны России. Видно он умел общаться с теми, кто высоко взлетел и теперь там в бесконечности, умел задавать им вопросы и услышать нужные ответы – то ли из пожелтевшего письма, то ли из альбома или дневника, которые хранятся в музеях, на архивных полках, у благодарных потомков.

Все вокруг, на что когда-то смотрели великие, было для Мастера освещено особым светом, и предметы эти как бы сами уже излучали свет.

В таких местах ему острее думалось о жизни и ее поворотах, о смысле существования на земле и предназначении человека.

В молчании старых усадеб ему открывались самые тайные подробности, которые некогда исторгали

душевный восторг или заставляли обитателей плакать горячими слезами и сгорать от стыда.

Здесь, у святых мест он испытывал особое состояние, верилось в доброту людей, в вечную любовь, что все-все сбудется и хотелось жить, как жили великие.

«Иди, куда влечет тебя свободный ум...» И он шел, стараясь не глядеть по сторонам на то, как живут некоторые /из братьев/, изменившие правде ради жирного куска, вояжей за границу, где можно так славно пожить. Шел, «не требуя награды за подвиг благородный».

В таких местах он все ждал чего-то необыкновенного, какого-то чуда и растворялся в счастливых грезах: начинал видеть себя и своих героев такими, какими он и они были в детстве, когда все представлялось в молочнорозовом свете, или тогда, когда на небосклоне появились первые тучи и начали сверкать молнии и греметь громы...

И сейчас, читая обо всем этом, мы зажигаемся желанием тоже непременно побывать в заповедных местах и своими глазами увидеть то, что увидел Мастер и сопережить вместе с ним все то, что его так тронуло и вдохновило на создание своих замечательных творений, оглянуться на прожитое и сверить его с жизнью великих сынов нашего Отечества.

Он был наделен необыкновенным даром – сливаться с вечностью, даром, который будоражит наше сознание и заставляет нас смотреть на себя из далекого завтра и оценивать свои поступки строгой оценкой тех далеких и требовательных потомков, которые будут жить на этой земле, когда мы без остатка растворимся в вечности и только голоса таких, как Мастер останутся в

книгах и эти голоса донесут до них правду о нашей неповторимой жизни, о наших поражениях и победах. Как же хочется не осрамиться перед глазами тех, кто будет после нас!

А может, все это и не так как я о нем придумал, может, воображение меня подвело? Но по-другому о нем я думать не мог. Я рисовал его в соответствии с его произведениями и мне представлялось все именно так, а не иначе.

Однажды, это было примерно спустя неделю, а то и полторы после заезда в Дом творчества, к Мастеру снова пожаловали соседи по его столу, которые ходили всегда парой и, наверное, были друзьями. Как всегда, остановились у веранды и окликнули моего соседа по имени. У одного из них в руках была бутылка шампанского.

Сосед не откликнулся. Увидев меня на моей половине, спросили:

– Куда он девался?

Я пожал плечами:

– Недавно стучал на машинке.

– За газетами, видно, побежал, – предположил очкастый, что был похож на пастора. – Обождем.

Они потоптались на месте:

– Соседом доводиться?

– Соседом, – сказал я. – Но мы, можно сказать, не знакомы. Как-то не получается. – Я даже уловил в своем голосе жалостливые нотки. – Хотя я и преклоняюсь перед его талантом. Могу читать его и перечитывать.

– Мы все поклонники его таланта – сказал тот, что ходил в красных ботинках.

— Не перестаю удивляться, как можно с помощью обычных слов оказывать такое воздействие на ум и на чувства.

Конечно, за каждым словом мне виделась большая работа, копанье в старых толстых словарях, разговоры со многими бывалыми людьми, наблюдения и размышления. И талант. Умение выбрать из сотни слов одно-единственное, умение облекать в слова чувство такой силы, что о словах и вовсе забываешь, как забываем мы о кислороде, без которого не можем прожить и нескольких минут.

Об этом я тоже сказал. Речь моя была сумбурной, а пришедшие смотрели на меня с благожелательной улыбкой и кивали.

— А вы кто будете? — спросил один из них.

— Я пишу на военную тему. Точно оправдывался. Назвал себя.

— Фамилия знакомая. В «Воениздате» печатаетесь?

— И в «Воениздате», — я придал голосу значительность. Может потому, что не был уверен в их словах относительно того, что им знакома моя фамилия. — А вас как звать?

Они тоже представились.

— Так вы тот самый, что написал предисловие к книге моего соседа?! — обрадовано воскликнул я, рассматривая человека в красных ботинках.

— Ваш покорный слуга, — он слегка поклонился.

— Отличное предисловие, — и я не кривил душой.

Меня никогда особенно не интересовала критика на произведения того или иного автора. Предисловий я тоже старался не читать до того, как не познакомлюсь с книгой. Может это потому, что не раз приходилось чи-

тать противоречивые рецензии на одну и ту же книгу. Иной присяжный критик такое настроит, что ты сам себе начинаешь не верить. Это у них называется интерпретацией. Такие за тридцать серебряников белое назовут черным и снимут скальп с талантливого писателя, пытавшегося опередить жизнь и потому где-то оступившегося, и могут поставить на пьедестал ходульного графомана, который из года в год выдает нагора бедную почти пустую породу. Не научились мы беречь наших талантливых людей. Конечно, больше всего достается тем литераторам, которые не занимают административных постов и не являются работодателями, не хотят быть похожими на других, ищут, экспериментируют. Такого автора ретивым критикам бить — одно удовольствие, сразу сделаешься в центре внимания и потом будут говорить: как он его разделал, не посмотрел, что одаренный. И глядишь, сам таким образом отличишься.

И хотя я не читал критики на произведения Мастера, но догадывался, что могли писать о его творчестве даже те, кому он нравился. Его могли обвинять в узости тематики, в том, что его вещи очень личные, без пафоса. На первый взгляд, это может и так, но только на первый взгляд. Однако, со статьей автора предисловия к книге Мастера я ознакомился. Критик (теперь я так и буду его называть) знал свое дело, отличался тонким умом, эрудицией, знанием истории русской литературы. Язык у него был сочным, емким и, казалось, все его вещи были написаны на одном дыхании.

Незадолго перед этим я прочитал его прекрасную книгу о жизни, судьбе и творчестве большого русского писателя, о трагедии огромного таланта, оторванного от родных корней. В эпилоге этой книги, которая сразу же стала библиографической редкостью, автор сказал доб-

рые слова и в адрес Мастера, для которого художественный опыт большого писателя «сыграл определенную роль».

Фамилия второго товарища принадлежала тоже довольно известному литературоведу (позволю себе впредь называть его именно так), автору многих статей о современной русской прозе и литературных портретов мастеров старшего поколения. Не знаю, может быть, его вещи носили более академический характер, но и у того и у другого через все их творчество проходила мысль о России, о Родине, и это, видимо, духовно сближало их.

— Пришли к классику обмыть один литературный шедевр, — Критик повертел в руках бутылку с шампанским.

— А может, что-нибудь покрепче, — и, боясь, что они откажутся, я нырнул в свою комнату и вытащил на веранду бутылку русской, пучок редиски и банку с маринованными помидорами. Это было приготовлено мною для подходящего случая.

— Отлично, — сказал Критик и с непосредственностью школьника перемахнул через перила, расположился в плетеном кресле, как будто век тут сидел.

— Стало быть, приготовлена на спирте вывшего качества, изготовленном из отборного зерна, — сказал он, читая наклейку на бутылке. — Однако, братцы-виноделы не утруждали себя поисками синонимов. Ну да простим их, если писателям и не такие перлы прощаем.

Вслед за Критиком вплыл на веранду Литературовед, спокойный, значительный, грузно опустился в кресло, заполнив его до краев.

Мы разлили водку по стаканам, и в это время из кустов вышел Мастер. Вроде бы, удивился увиденному.

— Давай сюда, — скомандовал ему Критик.

Пока я ходил еще за одним стаканом, Мастер уже был на моей веранде. Я усадил его в кресло.

— Это среди белого-то дня, — покачал он головой, увидев на столе початую бутылку.

— Ин вино веритас, как говорили римляне, истина в вине, — и Критик налил Мастеру водки, совсем немного, на донышко. — Ему нельзя, — пояснил он мне и спросил:

— Кстати, вы знакомы? — и поглядел при этом на Мастера.

— Немножко.

— Вот за более обстоятельное знакомство, — Критик залихватски опрокинул водку в рот, смешно причмокнул губами и покачал головой. Кажется, прошла, Слава те, Господи, — и он картинно перекрестился, а потом выловил из банки помидорину.

Мастер выпил последним, с большой неохотой, поморщился и закурил.

И вот как-то сам по себе занялся разговор. Сначала про водку, которая что-то совсем стала не хмельной, про рассол от маринованных помидор, лучше которого трудно что-либо придумать для того, чтобы нейтрализовать принятое.

Все шло к тому, чтобы повторить. И повторили — уже за творчество. Тамадой, если это слово подходит для такого застолья, стал Критик. Он то и дело подбрасывал темы для разговора, а мы их подхватывали. Самым молчаливым в нашей компании был Мастер. Сидел, чуть нахохлившись, слушал и курил. Пожалуй, курил он сверх меры, не курил, а дышал дымом и, казалось, весь им пропитался.

У критика оказалась скрученная в трубочку газета со статьей о творчестве известного прозаика, который

возглавлял один из журналов. И вот он стал читать из своей статьи (ее-то и пришли обмыть) какие-то куски вслух и, как выяснилось из дальнейшего разговора, Критик был не до конца честен перед газетой, напечатавшей статью. Писал он одно – хвалил этого прозаика, а говорил здесь на веранде, другое.

Литературовед тоже не больно лестно отзывался о творчестве этого писателя.

Я считал себя сбитым с толку, потому что мне книги этого прозаика нравились, называл повесть, которая произвела на меня наибольшее впечатление и при этом несколько переврал название. И это, искаженное мною название, моим гостям очень понравилось, и они все произносили его вслух и смеялись.

– Вот именно, вот именно, – и Критик все называл перевранное мною имя.

Мастер улыбался своей необычной, трогательно-зазорной улыбкой. Ее, наверное, можно было бы назвать красивой, если бы не его желтые от неумеренного курения зубы.

А потом мои гости стали объяснять мне, в чем фальшивость повести этого признанного писателя, но я так был удручен своей оплошностью, что их объяснение пролетело мимо моих ушей.

Говорили о творческой истории некоторых книг, кого-то хвалили, кого-то ругали. Оценки, высказываемые моими новыми знакомыми, были довольно категоричны и иногда неожиданны, в результате чего в голове у меня скоро образовался сумбур. И я где-то даже растерялся.

Что мне врезалось в память? Мои собеседники, как бы разделяли всю нашу литературу на три категории и многие произведения, о которых долдонили печать как

о замечательном явлении в литературе, у них подпадали под третью категорию. По их утверждениям почти все ведущие писатели сплочены в группы или корпорации, соответствующие художественному уровню и направленности. Конечно, не официально сплочены, но считалось, что каждая группа в первую очередь поддерживает «своих» писателей. Корпорации не были огорожены колючей проволокой, но проникнуть туда чужаку так же трудно, как в крепость с поднятыми мостами. А если кому-то и удавалось это сделать, то в лучшем случае он может стать лишь свидетелем «ритуала говорения», не больше. Деловых разговоров посторонний не мог слышать, они велись «при закрытых дверях».

Первосортная литература, по мнению моих собеседников, делалась писателями «из глубинки». /Их сейчас относят к четвертому поколению/ Они еще не занимали дирижерских постов на литературном Парнасе и вроде бы пока не стремились к этому, всецело отдавались творчеству, поискам правды жизни и точных слов для ее выражения. Они хоть и поврозь добывали свою трудную правду, напоминая старателей-одиночек, выискивающих крупинцы золота в россыпях песка, однако тоже как-то были объединены, называли себя «деревенщиками», «сибиряками», что впрочем не мешало некоторым из них жить по-городскому, иметь машины и дачи.

Ко второму сорту относились произведения тесно сплоченных, кто цепко взялись за руки и хорошо усвоили, что надо для того, чтобы печатали их пухлые рукописи.

Третий сорт составляли «дирижеры», потому что писать им было некогда.

И это еще не все. Имелись писатели, которые «штамповали ширпотреб». Среди них было не мало ловкачей, имеющих верных людей в издательствах и других ведомствах, умеющих проталкивать свои вещи и организовывать положительные рецензии на свои книги.

Я тоже знал одного оборотистого мастера. Он не утруждал себя поисками новых ростков в жизни, он вообще в нее не окунался, не забегал он и вперед, не экспериментировал. Он набил руку на приключенческих повестях и романах, умел пощекотать нервы читателям и нафабриковал уже около полусотни развлекательных книг и книжечек, и продолжал фабриковать, не гнушаясь и более мелкими поделками на потребу невзыскательному читателю, проявляющему повышенный интерес к уголовникам и шпионам. И вот стоило ему где-то издаться, как тотчас же появлялись в периодике восторженные отзывы, и не один, и не два, а десять и двадцать. Читая их, можно подумать, что на литературном небосклоне взошло новое светило, перед которым все вокруг бледнеет, а то и вовсе меркнет. А назови его имя где-либо в публичной библиотеке – удивятся: а разве есть такой?! Есть! Он всегда одет с иголки, щеголеват, из нагрудного кармана торчит платочек под цвет галстука, а из рукавов белые манжеты с дорогими запонками. Он доволен собой и всеми, охотно рассказывает о своих творческих поездках и зарубежных вояжах, не преминув обронить, какой успех у его книг и здесь и там. Он – сама доброта и не хочет иметь врагов, занимает определенные общественные посты, охотно представляет на пленумах, говорит вступительные слова. Как-то он пригласил меня на свой юбилей, выступали причисленные к маститым издатели и еще Бог знает кто,

с хвалебными речами, чуть ли не причисляли его к лику святых. Конечно, юбилярам не говорят неприятностей, их кормят патокой. И все-таки! Я слышал позднее, как те же люди отзывались совсем иначе о творчестве недавнего юбиляра, а его называли посредственностью и бездарью.

Оказалось, что мои собеседники тоже знали этого человека.

– Может он твой друг, но это, по-моему, гнида, – сказал Литературовед.

И я не знал, что ответить на это. Тот писатель не был моим другом, но он и мне сделал не мало хорошего, и я тоже в глаза ему говорил одно, а думал о нем другое и как-то даже подмахнул в подпитии /отмечался выход его очередной книги/ составленную им рецензию на один из его шедевров, конечно, положительную. А потом она была напечатана.

Не всегда оно удобно говорить правду-то, если даже и не зависишь от людей, которым надо ее сказать. Говоришь чаще то, что хотят от тебя услышать. Ведь не убудет вроде бы от тебя, если соврешь. Однако, убывает. И от тебя, и от того, кому говоришь.

Вот и Критик в своей статье был не до конца искренен, расхваливая писателя, стоявшего во главе журнала. А почему? Думается, Мастер на это бы не пошел.

Мне хотелось знать, что берется Критиком за основу при оценке того или иного произведения, и я завел об этом разговор.

– Надо видеть, какая нравственная программа заложена в произведение, – было сказано мне, – гражданская сверх задача и на каком художественном уровне она решена. Излагаемое автором должно давать пищу для ума и сердца, затрагивать в душе какие-то потаен-

ные струны, вызывать у читателя необходимую ему реакцию: радость, доброту, печаль, смятение, обиду, гнев, ненависть.

Все сказанное имело прямое отношение к Мастеру. Его произведения отвечали всем этим требованиям.

Опустела бутылка «русской», но разговор не иссяк, становился острее, откровеннее и злее по отношению к некоторым писателям, охотившимися за литературными успехами, к приспособленцам, приладившимся, присосавшимся к маститым, от коих многое зависит, о придворных писаках.

— Я ведь начал в литературе с другого конца, — сказал мне Критик. — И на том берегу был своим в доску. Меня поднимали там — тесно-сплоченные второсортники, отрекшиеся от всех святынь. А потом надоело их тайнодумие. Противно стало. И начал прибиваться к другому берегу. Ох, как они все взвыли, как напустились на меня. Но я уже вошел в силу, и голыми руками меня было не взять: Однако, бывает и сейчас не легко. Вот как-то выпустил книгу, а попробуй-ка, найди ее где-нибудь. Всю раскупили, сукины сыны, а точнее скупили. А почему? Не понравилось им, как оценил творчество маститых.

Пожалуй, Критик немного преувеличивал, хотя, конечно, остаться равнодушным к его оценке творчества было трудно. Позже я прочитал эту книгу. В ней были собраны его статьи о русской литературе. Они написаны с присущим этому автору блеском, но носили обзорный характер, весьма тенденциозны, я бы сказал, преднамеренно тенденциозны. Одна из статей, пожалуй, самая интересная по фактам, носила явно заданный характер. Автор поставил перед собой определенную цель и использовал все свои знания, умение и сноровку, что-

бы достичь этой цели. И достиг. Статья получилась очень убедительной, хлесткой, била не в бровь, а в глаз, и, разумеется, не могла понравиться тем писателям, которых Критик раздел в ней донага. А ведь среди них были не какие-нибудь шелкоперы от литературы, графоманы, ремесленники в плохом смысле этого слова, а весьма почтенные люди, авторитеты, давно уже отвыкшие от того, чтобы их гладили против шерсти. И кто, по их понятиям, какой-то юнец в литературе, еще не создавший ничего существенного.

Но вот что еще: читая эту самую статью, я все время не мог отделаться от чувства, которое испытывал, присутствуя однажды на выступлении известного современного поэта, отличавшегося своим фрондерством и не по этой ли причине вызывавшего к себе нездоровый интерес. Попасть на встречу с ним было так же трудно, как на международный матч по футболу, пришлось пройти не через один милицкий кордон, прежде чем передо мной открылись двери в зал, где читал свои стихи этот поэт.

Теперь об искренности Критика. В газете, которую он принес с собой, была, как я уже сказал, напечатана его хвалебная статья на писателя, который был отнесен моими собеседниками к третьесортным. Почему, спрашивается? Не потому ли, что этот писатель был ко всему прочему еще и редактор журнала, и от него не в малой мере зависело: появится, скажем, или не появится на страницах этого журнала роман, над которым, как мне стало известно из застольной беседы, работал сейчас сам Критик. Конечно, он возможно, и не предложит свою рукопись в этот журнал. Ну что ж, наверное, будет неплохо, если там тиснут хвалебную рецензию на его произведение. Но это был только мой домысел. Скорее все-

го, Критик руководствовался какими-то иными соображениями. Его творчество говорило само за себя и не нуждалось в рекламе. Попробуй-ка найти какую-либо из его книг – наищешься. Однако, то, что он подобно моему знакомому оборотистому мастаку /что ходит с платочком в нагрудном кармане/ тоже в какой-то мере ловчил, меня настораживало и удручало. Ведь он по-настоящему талантливый писатель, умный, тонкий, изящный, а вместе с тем какой-то половинчатый, позволяет себе такое. Ну, зачем это ему надо?

– Господи, прости мои прегрешения, – сказал он, словно прочитав мои мысли, и опять дурашливо перекрестился.

Мой сосед, пожалуй, больше слушал, чем говорил, хотя и был согласен с большинством оценок своих товарищей.

В одно из мгновений мне вдруг показалось, что своей внешностью он смахивает на Пушкина, и в дальнейшем я уже не мог освободиться от этого своего неожиданного впечатления. Ни тогда за столом, ни потом. Слушая своих гостей, я все время потихоньку наблюдал за Мастером, как он курит, глубоко затягиваясь и медленно выпуская дым, как бы вместе со словами, которые произносил. Его суждения были не менее резки и категоричны. И было в них что-то недосказанное, как бы оставленное на потом. Казалось, он нарочно приберегал какие-то свои слова.

Мы и сами не заметили, когда перешли на ты и стали рассказывать друг другу о чем-то сокровенном.

В самый разгар беседы на веранде появилась молоденькая горничная с девочкой лет трех. Она только что приняла дела от уволившейся по болезни женщины

и пришла поменять постельное белье. Горничная была ничего себе, тоненькая, смуглолицая, похожая на школьницу. Только уж очень одета была бедно, да и вроде бы несколько неряшливо, молния на юбочке поломалась, одна из пуговиц на кофте была оторвана. Видно не следила за собой особенно.

При ее появлении мы, естественно, «взнуздали» себя, как бы подтянулись. Критик выгнул грудь колесом и стал усердно угощать девочку лежавшими на тарелке конфетами.

– Бери, маленькая, бери.

Девочка не отказывалась, запускала в тарелку ручки, и брала конфеты, пока их можно было как-то удержать в растопыренных пальцах.

– Ах ты, Господи, – и Критик стал помогать девочке уложить конфеты в карман, а смотрел при этом на маму.

– А что же с девочкой-то пришла на работу? – спросил Литературовед, с улыбкой наблюдая за своим приятелем.

– Не с кем оставить.

– А в детсад?

– Нужна прописка. А у меня ее нету. Я ведь не совсем здешняя.

– Будет прописка, – пообещал Критик. – Похлопочем, – и придвинул горничной стул. – Давайте с нами, – и налил ей водки из наших стаканов.

Молодая мама тоже не заставила нас повторять приглашение. Опрокинула содержимое, даже не поморщилась. Потянулась к лежавшим возле Мастера сигаретам.

Мы переглянулись.

— А вот курить-то и не надо бы, — назидательно сказал Литературовед. — Вредно для здоровья.

— Я уже привыкла.

— Конечно, конечно, — согласился с ней Критик. А Литературовед гнул свое:

— Надо отучаться.

— Отучусь, время придет. — Горничная не уточняла, когда придет это время, через год, или через десять лет.

Разговор перекинулся на иную тему. О чем именно зашла речь, я не помню, только помню, что горничная тоже активно включилась в беседу, даже слишком активно, никому рта не давала открыть.

Критик был не женат, волен себе и посматривал на горничную с тайным интересом, все сочувствовал ее неустроенности и обещал поговорить с директором Дома творчества по поводу ее прописки и все сюсюкал с ребенком, одобрял смекалку девочки, которая ухитрилась забрать из тарелки все конфеты. А думал Критик совсем о другом.

Мастер грустно улыбался, посматривая на маленькую девочку.

А горничная все что-то рассказывала о муже, который ее обманул и бросил.

Когда стали пить растворимый кофе, девчушка попросила, чтобы ей тоже дали.

— Это горько для тебя. Мы тебе дадим сладкой водички, — сказал Литературовед.

— Не горько, — возразила мама и налила дочке крепкого, черного кофе. И та стала пить его с завидным аппетитом.

— Может ей водочки, в таком разе, — пошутил Критик.

— Рано еще, — серьезно ответила горничная.

Она почему-то раздражала меня своей наивностью, замешанной на нахальстве. Есть такие наивные нахалки среди девчонок, рано столкнувшихся с прозой жизни и увидевших, что не все на белом свете так, как об этом говорили родители и учителя и как об этом написано в книгах, которые рекомендовали ей читать старшие. А раз так, то нужно особенно не церемониться с посторонними, жить по присказке: дают — бери, а бьют — беги. Вот она и брала от жизни все, что удавалось, без особых трудов и уже успела обзавестись ребенком. Брала и теряла себя.

Потом мы все отправились на обед.

— Из молодых, да ранняя, — сказал о горничной Литературовед. — Что же дальше-то с ней будет, — она ему тоже не понравилась.

— Надо бы и в самом деле помочь девчонке, — сказал Мастер. — Не дело за собой пацанку таскать.

Когда подходили к столовой, Литературовед сказал мне:

— За нашим столом есть свободное место. Переходи.

И я перешел.

Как быстро у меня отросли крылья. Я перестал быть самим собой, не ходил, а летал по Коктебелю, и все казалось мне, что вздымусь к облакам. Наконец-то и я попал в «откровенный круг».

Теперь я сидел рядом с Мастером за завтраками, обедами и ужинами. /На полдник мы не ходили/. Мастер и здесь был тих и по-осеннему пасмурен, погружен в себя. Еде он не придавал никакого значения, что подава-

ли, то и ел, к тому же без особого аппетита, так – поко-
выряет вилкой – словно по обязанности.

В застольных беседах был немногословен, больше слушал, слегка наморщив высокий лоб.

Я жаждал разговоров о течениях и направлениях в литературе, о стилях и манерах письма, о системах и формах выразительных средств, ложной и истинной оригинальности, новаторстве. Но мои новые знакомые не горели желанием обсуждать эти вопросы. Им достаточно было того, что они писали об этом для газет, журналов и сборников. Говорили же они чаще о том, что окружало писателей, о их взаимоотношениях, групповых пристрастиях или же о ком-либо из редакторов, с которыми им приходилось конфликтовать, отстаивая какую-то свою идею или мысль. Были случаи, когда то или иное произведение «замораживалось» на какое-то время и это тоже оказывалось предметом разговора.

Под впечатлением услышанного, я уже смотрел на собравшихся в Коктебеле писателей несколько иначе. Иногда мне начинало казаться, что некоторые из них и здесь объединены в группы и группочки, которые хоть и были перемешаны между собой, но не сливались одна с другой. Литературовед не однажды обращал мое внимание на такие их группы и называл предводителей, говоря, что ранги у них могут быть самые разные.

– Вот этот у них в числе боссов, – говорил он мне, показывая на старого писателя, приехавшего в Коктебель с внуком. – Ну, не из самых старших, а все-таки.

Случалось, и спорили по поводу какой-нибудь книги. В спорах Критик был запальчив, динамичен, цитировал авторов, о которых я знал только то, что в свое время требовалось институтской программой. Он вообще был напичкан самой разнообразной информацией и мог,

скажем, по памяти /у него была отменная память/ несколько часов кряду читать стихи того или иного поэта. Даже воздух вокруг него был наэлектризован и, казалось, вот-вот начнет трещать, как трещит в проводах высоковольтной линии.

Не менее искушенный в профессиональных диспутах, Литературовед не спешил с выводами и заключениями, и вообще был само благоразумие. Раз выбрав для себя определенную линию (она была официозной), он шел по ней, как бульдозер.

Иногда злословили по поводу тех «русофилов», которые, прославляя Русь, не забывали и о цене икон, выменянных у древних старушек за доброе слово, ведь сказать его – язык не отвалится. Говорили и о литераторах, преданных анафеме и забытых все. Иногда сплетничали, скажем, об Экологе, который недавно сошелся с немолодой писательницей и теперь приехал с ней сюда творить, а между тем дома у обоих остались семьи. Философствовали о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами, о превратностях любви.

Мастер не был чужд всем этим разговорам, а его реплики по тому или другому поводу говорили о том, что он в курсе всех событий. Вместе с тем, была в его суждениях какая-то независимость от остальных, что-то свое, индивидуальное. Он и тут оставался как бы сам по себе и это давало мне повод думать, что между ними нет большой всеразделяющей дружбы и полного всепо-
нимания.

Случалось, я заводил какой-то разговор о литературе, надеясь извлечь из него пользу. Но мои попытки были безуспешными. Помнится, я обмолвился как-то насчет новаторства в прозе. Мастер сказал на это без воодушевления:

— Больше говорят о новых формах те, кто ничего путного не создал. Ничего не надо искать и выдумывать. Лучшая манера письма, когда не видно никакой манеры. Надо быть простым и писать просто.

Теперь и я приобщился к послетрапезным разговорам у парапета с генеральской четой. Старушенция подобострастно смотрела в глаза собеседникам.

— Купались сегодня? — вопрошала она.

— А как же, — отвечал Критик, выпячивая грудь. — И вы, однако, — тут он ласково называл ее по имени и отчеству, — я сам видел.

— Я сделала такой заплыв, такой заплыв, что мой благоверный кричать стал, чтобы вернулась. Не так ли?

Генерал застенчиво улыбался, глядя на экзальтированную супругу по-детски прозрачными глазами.

— Зачем же так пугать? — улыбался Мастер. Со стариками он был вежлив, приветлив, прощал им старческую болтовню, но не расшаркивался перед ними, не лебезил, чего нельзя было сказать о Критике. Создавалось впечатление, что он был в какой-то зависимости от них и как умный человек, тяготился этой зависимостью.

— Уж больно водичка хороша, — старушенция закатывала светлые глазки. — До того хороша.

А температура воды в море не превышала десяти градусов, и купались только закаленные люди. Их можно было сосчитать по пальцам. Да и что это было за купанье: заходили по колено или по пояс, окунались по грудь — и на берег.

Генеральша входила в обойму купающихся. Мне уже не раз доводилось видеть эту старуху утром на набережной, когда она бегала трусцой. Нет, это был не бег, а быстрая ходьба наподобие марафонской. Сколько

упорства было в ее далеко не синхронных движениях и отрешенности от всего окружающего. Я поражался ее воле — такие добиваются своего. Кособокая, колченогая, она трусила в купальном одеянии мимо лавочек, на которых сидели досужие люди, не замечала ухмылок вокруг и не слышала реплик в свой адрес. Пусть себе смеются. Если бы они знали, что ей пришлось в свое время пережить. Она была участницей Великой Отечественной войны, ей хотели отнять ногу после ранения, но она отстояла ее. А скольких усилий ей стоило, чтобы поправить расшатанное войной здоровье!

Генерал по утрам не бегал, но был крепким еще стариком — сказывалась армейская закалка.

— Ходили в кино? — спрашивала старушенция, кивая на вчерашнюю афишу. И не дожидаясь ответа, начинала нахваливать фильм:

— Необыкновенно, все необыкновенно хорошо удалось режиссеру. А игра артистов — прелесть, — голубенькие глазки у нее так и посверкивали. Критик, наверное, привык к ее суматошности и болтовне и, кажется, не слушал, шарил глазами по лицам выходивших из столовой дамочек, с кем-то раскланивался, дарил улыбки. В голове у него крутилась как какая-то своя мысль.

— Ужасный фильм, — значительно изрекал Литературовед, не отличавшийся в разговорах со стариками особой гибкостью. — И как только не стыдно снимать и показывать такую муру.

Старушенция хлопала глазками и мгновенно перестраивалась, согласно кивала седовласой головой:

— Да, да, ужасно, — а потом как бы спохватывалась. — Но мы, знаете ли, от души посмеялись над режиссурой и над игрой актеров. Трудно вообразить что-либо еще более смехотворное. Не так ли?